ПУТЕШЕСТВИЕ ХРИСТИАНА-АВГУСТА

Христиан-Август Валленштейн — такое громкое имя носил этот маленький тщедушный человечек, уже заметно лысеющий в свои тридцать шесть лет, — решил наконец съездить на родину. Последние двадцать лет он безвыездно жил в Москве, куда когда-то сбежал из Караганды — форменным образом сбежал, прихватив лишь фанерный чемоданчик с бестолково собранными, сплошь ненужными вещами.

С этим чемоданом в начале сороковых годов прошлого века приехал из Вильнюса в Караганду его дед, толком так и не понявший, за что его арестовали, наспех допросили и приговорили к двадцати годам лагеря. Может, виной тому была национальность, может, дворянское происхождение, возможно, была и другая причина — об этом в семье никогда не говорили. Деда звали точно так же — Христиан-Август Валленштейн, и когда внук открывал чемодан и читал это длинное имя, выведенное на оборотной стороне крышки хими-

ческим карандашом, он каждый раз испытывал разочарование.

Христиан считал, что ему очень не повезло унаследовать такое имя. Двум его старшим братьям по традиции тоже достались родовые имена, но это были вполне удобоваримые Рудольф и Альбрехт (на тетрадях в школе брат писал «Альберт»). Христиан полагал, что достанься ему имя попроще, и вся жизнь у него сложилась бы легче. А так... Всегда, везде он становился объектом для вопросов и насмешек. В лучшем случае его имя вызывало холодное любопытство, которое действовало на скромного, даже робкого парня как медленная отрава. Больше всего на свете Христиан желал бы не привлекать ничьего внимания, жить тихо, незаметно, слившись с толпой, ничем ни от кого не отличаясь.

Так и получалось, пока ему не приходилось представляться. Тогда все шло прахом, не спасали ни неприметная внешность, ни рабочая профессия. Едва приехав в Москву, он сразу поступил в училище при заводе, на котором и остался, получив профессию токаря. Хоть бы одно из имен на что-то годилось, так нет — и Христиан, и Август одинаково действовали на людей, мгновенно вызывая нежелательный интерес. К тому же начальник цеха оказался книголюбом и каждый раз, видя у станка токаря Валленштейна, сообщал всем желающим слушать, что у Шиллера есть одноименная историческая драма в трех частях. «"Лагерь Валленштейна", — загибал он бурый от

табака палец, — вторую часть забыл, и "Смерть Валленштейна"!» Начальник цеха ценил трудолюбивого, неизменно трезвого токаря высшего разряда и попросту хвастался перед работягами своей эрудицией, но для Христиана эти выпады были сущим мучением. Он втягивал голову в узкие плечи, обтянутые синей спецовкой, и еще прилежнее обтачивал деталь, ощущая колющий жар в позвоночнике при мысли, что было бы, если бы они узнали, что он не просто однофамилец того Альбрехта Валленштейна, главнокомандующего армией Священной Римской империи в Тридцатилетней войне, но его прямой потомок!

Были вещи еще более потрясающие, догадаться о которых, глядя на щуплую фигурку, ссутуленную над станком, не смог бы даже самый заядлый любитель истории и литературы. В частности, старший брат Христиана, Рудольф, был назван не в честь какого-то главнокомандующего, как средний брат Альбрехт, а в честь самого императора Священной Римской империи, короля Чехии, Австрии, Венгрии, Моравии и Силезии Рудольфа II, загадочного, полусумасшедшего монарха из рода Габсбургов, знавшегося с алхимиками и колдунами теснее, чем с послами и министрами. Сам Рудольф II, в довершение своей оригинальности, женат не был и потомства не оставил, зато его мятежный брат Матиас, завладевший впоследствии престолом, имел детей. Кровь одного из племянников легендарного богемского властителя в семнадцатом веке смешалась с кровью деви-

Анна Мальппева

цы из древнего рыцарского рода Валленштейнов и ныне текла в жилах Христиана. Сам же он был назван в честь датского короля Христиана III, с побочным сыном которого род Валленштейнов породнился в начале восемнадцатого столетия. Таким образом, Христиан также являлся представителем Голштин-Готторпской линии, к которой принадлежал Карл-Петр-Ульрих, ставший в 1761 году российским императором Петром III.

Обо всем этом Христиан не рассказывал ни жене, с которой жил уже пятнадцать лет, ни двум дочерям. Он старался забыть об этом сам и порой начинал верить, что ничем не отличается от других людей. То была не ложная скромность. Такую же позицию занимал его отец, никогда не выносивший за порог дома подробности семейной генеалогии. Так же, стремясь слиться с окружением, вел себя дед, получивший некогда срок и путевку на каторжные работы только за свое имя и происхождение. «Хорошая собака помнит, на какой улице ее побили палкой. Плохая собака ничего не помнит. Будь хорошей собакой!» — примерно так звучало поучение деда, который до самой смерти говорил по-русски как-то странно, неуклюже и многословно. Смысл высказывания был прост: «Хочешь жить долго — не выделяйся!»

Он и следовал этому завету, избегая упоминать в разговорах с женой и знакомыми даже город, откуда приехал двадцать лет назад. Название «Караганда» также действовало на людей как раздражитель, вызывая не то любопытство,

не то удивление, а Христиан боялся и того и другого. Он хотел бы стать никем из ниоткуда, чтобы раз и навсегда прекратить всякие расспросы. Казалось, он материализовался из сырого, пропахшего гарью воздуха столичной окраины — маленькая фигурка в поношенной куртке, дешевых брюках, в кепке, надвинутой на высокий лысеющий лоб. Лицо бледное, узкое, с несоразмерно крупным горбатым носом и почти безгубым ртом. Большие серо-голубые глаза всегда пусты, как у глубоко задумавшегося человека. На самом деле Христиан редко задумывался, не умея и не любя рассуждать. Он мыслил воспоминаниями, целыми блоками звучащих красочных картин, населяюших его память. Они и составляли его настоящую жизнь, давали пищу душе, они, а вовсе не та действительность, которая его окружала изо дня в день — квартира на окраине, жена и дочери, дорога на завод, цех, дорога домой...

Христиан обладал счастливой способностью довольствоваться очень малым, занимая в жизни такое незначительное место, что не нашлось бы человека, который бы ему позавидовал или польстился на то, чем он владел. Это был урок, усвоенный от деда. Настоящей жизнью он жил лишь первые шестнадцать лет, в родном городе, и казалось, те впечатления наполнили его душу до краев, так что она не вместила бы уже ни капли. За последние двадцать лет ничто по-настоящему не отразилось в его сознании, не тронуло сердца. Он жил как во сне и отчасти был похож на сомнамбу-

лу, бродящую с широко открытыми глазами, лишенными выражения. Он и грезил наяву...

Бредя ранним утром к остановке автобуса, которым он ездил на завод, Христиан на самом деле шел по улице, которой никто, кроме него, не видел. Это была улица его детства. И в его власти было устроить так, чтобы над ней светило солнце, и утро оказалось майским, а не ноябрьским, как наяву. Он так отчетливо видел эту улицу на окраине Караганды, в Федоровской слободке, где жили в основном бывшие ссыльные всех мастей — и политические, и уголовные! Горожане опасались туда заезжать даже на автобусе, о Федоровке рассказывали ужасные байки, но Христиану не удавалось вспомнить ни одного по-настоящему страшного происшествия из своего детства.

Вот она, широкая, пыльная улица с растрескавшимся асфальтом, обсаженная трепешущими серебряными тополями. По обе стороны — ряды голубоватых от извести домиков, сплошь одноэтажных, окруженных крохотными двориками. Здесь только частный сектор. Некогда переводимые на поселение заключенные собственными силами возводили такую мазанку за неделю-другую, прирезая к ней кусочек земли, все дальше отодвигаясь в степь, которую никто не мерил и на которую никто, кроме них, не зарился. От улицы ответвляются переулки — иногда очень короткие, тупиковые. Самые старые дома видно сразу — это низко вросшие в почву землянки, выкопанные еще первыми поселенцами для быстроты и за не-

хваткой материалов для стройки. Крытые черным толем плоские крыши порой приходятся по пояс идущему мимо прохожему. Крохотные окошки вмазаны в стенки из саманных кирпичей над самой землей, стекла в них вечно белые от пыли. Ни воды, ни газа, ни канализации там нет. В одной из таких старых землянок жила семья Христиана — дед, мать с отцом, двое старших братьев и он сам. Ну и, конечно, сестра отца, сумасшедшая тетя Мария, которая всю жизнь просидела под землей в своей крохотной комнатушке с никогда не открывавшимся окном под самым потолком.

Христиан видит теплый майский день, воскресенье. Ему десять лет. Братья убежали играть в футбол или в кино, а он не успел улизнуть, и мать заставила его помогать с уборкой. Сегодня решено вытащить во двор тетю Марию, проветрить ее после зимы. К ней относятся как к неодушевленному предмету, к свернутому в рулон ковру, например. Берегут от моли, пыли и плесени, ухаживают, но по-настоящему не любят. И как любить человека, который вряд ли тебя замечает, сколько с ним ни возись?

— Подхватывай ее справа, а я слева, — решает мать. — Руди у меня получит, когда вернется, я же приказывала ему остаться! Здоровенный лоб, шестнадцать лет, а ума хватило только на то, чтобы обрюхатить соседскую девчонку!

Отец, услышав эти причитания, кричит, что мать получила то, что заслужила, — Руди всегда был ее любимчиком, она даже пороть его не раз-

Анна Мальппева

решала, и вот результат! Отец сидит в зале, самой большой комнате, и пытается настроить телевизор. Антенна, установленная на крыше землянки, давно стала излюбленным местом свадеб у соседских котов. Они назначают под ней свидания в лунные ночи, трутся об нее так яростно, что шерсть электризуется и начинает сверкать жуткими синими искрами, а потом кричат, как «души грешников в аду», по выражению деда. Антенна в результате начинает барахлить, и телевизор ничего не показывает.

- Нужна бы новая антенна, говорит отец после очередной безуспешной попытки ее починить.
- Нет, новый дом нужен! перебивает мать. Нет сил больше жить в этом блиндаже. Мы тут как заживо погребенные!
- Троих парней нарожала, так, может, родишь мне денег на дом? огрызается отец.

Последнее слово говорит дед, высовывающийся из своей каморки, где он всегда что-нибудь чинит. Вся улица носит ему сломанные электроплитки, фонарики, будильники и даже наручные часы. Прибыв в Караганду из Вильнюса, дед, по собственному признанию, не умел сам себе галстук завязать. На зоне он научился десятку ремесел. В сорок седьмом году, перейдя из лагеря на поселение, он выкопал эту землянку, возвел над ней низкие стены, покрыл их плоской крышей и обнес крохотный дворик оградой. В том же году здесь родился его первенец. Дедушка утверждает,

что лучше этого дома им не сыскать. Зимой в нем тепло, а летом прохладно. Тесновато, да зато не скучно. Если дом хотят продать или, еще хуже, снести, пусть сперва дождутся его смерти. И мать умолкает.

Они тащат тетю Марию под руки, по коридору к входной двери. Та ступает тяжело, неохотно, как бык на бойне, поводя головой из стороны в сторону, туго соображая, куда ее гонят и что с ней хотят сделать. Опухшая, сырая, противно вялая — она кажется Христиану куском студня, вытряхнутым из перевернутого тазика и дрожащим, как от испуга. Наконец совместными усилиями они с матерью выволакивают тетю Марию во двор. Там уже приготовлено деревянное кресло, некогда сколоченное дедом, всегда стоящее под навесом. На этот раз его ставят на самый солнцепек. И вот тетя сидит в кресле, жмурясь от яркого света, продолжая крутить головой, издавая гортанные звуки. Ничего, кроме этого рокота, от нее никогда не слышат. Если тетя хочет есть, она рокочет громче, когда наедается — тихонько урчит. Вкуса еды не понимает, одинаково жадно поглощает и пресную кашу, и вареную картошку, и торт.

— Если мы все вдруг умрем, она не заметит и горевать не будет, — сказала как-то мать отцу. — Я с ней замучилась, руки себе в кровь стерла, стирая на этого бегемота. А какой из-за нее в доме запах! Ведь не уследишь. Комната пригодилась бы Руди. Мальчики растут, им втроем в одной спальне тесно.

— Опять? — сердится отец, с опаской оглядываясь на закрытую дверь в каморку деда. — Никакого интерната. Забудь об этом!

Мать тоже косится на каморку и замолкает. Это бесполезный разговор. Дед никогда не позволит отдать в интернат свою слабоумную дочь, оставшуюся в тридцать лет такой же беспомощной, как при рождении. «У Валленштейнов в каждом поколении обязательно был свой сумасшедший или идиот, — говорит дед отчего-то не без гордости, как слышится Христиану. — И никогда, слышите, никогда мы от них не отрекались!»

Тетя Мария сидит во дворе, следя пустыми серо-голубыми глазами за крадущейся по крыше дома грязной белой кошкой. Внезапно помешанная издает гортанный звук, и кошка, присев на всех лапах, спрыгивает с землянки в сторону улицы и удирает. Коты отчего-то боятся тетки. Некоторые, привлеченные едким аммиачным запахом, исходящим от женщины, иногда осторожно приближаются, но, бросив на ее отекшее лицо несколько взглядов исподлобья, сразу удирают. Мать уходит в дом и возвращается с двумя пустыми ведрами:

— Сходи за водой, я буду мыть полы.

Христиан идет охотно. Колонка расположена рядом, на углу их переулка, совсем маленького закутка — три дома с одной стороны, два с другой. Вторая сторона короче, потому что на задах ее подрезает длинный глубокий овраг, тянущийся вдоль всей слободки, отделяя ее от городской

черты. Валленштейны построились над самым оврагом, на короткой стороне. Напротив живут русские, старуха мать с уже пожилым сыном, бывшие ссыльные из Вологды.

Старуха плетет на продажу косынки, а вырученные деньги приносит матери Христиана, чтобы та спрятала. «Иначе мой все пропьет!» — говорит она. Мать прячет деньги в комнате тети Марии, куда, как она говорит, ни один вор не сунется. В каморке всегда стоит оглушительная вонь, потому что тете не удается втолковать того, что понимает даже ребенок.

Старуха маленькая, сгорбленная, спина у нее круглая, как у жука, а глаза добрые, веселые. Сын пьет горькую много лет, с тех пор как от него ушла жена, и ни на одной шахте не держится подолгу. Когда он идет домой пьяный, дети увязываются за ним и хором выкрикивают всякую похабную ерунду. Седой мужчина с трясущейся головой останавливается, сильно шатаясь, роется в карманах и с глупой улыбкой раздает им подтаявшие карамельки. Христиан никогда его не дразнит.

Вслед за русскими на длинной стороне переулка — немецкая семья, Майеры, муж работает с отцом Христиана на одном заводе, сын — шахтер. Их не любят «за гордость». Говорят, у них водятся деньги. Во дворе на короткой цепи прыгает, надсадно хрипя, огромный старый волкодав. Христиан замахивается на него ведром, и пес, задыхаясь, облаивает его, хотя видит по десять раз в день вот уже десять лет.

После Майеров на углу переулка — казачья семья с Украины, Копатые. Их четырнадцатилетняя дочка Оксана — тайный предмет воздыханий Христиана. У нее синие насмешливые глаза, русая коса толщиной с руку, упругая походка спортсменки. На Христиана она внимания не обращает, после легкоатлетической секции ее провожают домой взрослые парни. Христиану остается утешаться только тем, что даже у этих спортсменов, когда они, расставшись с Оксаной, возвращаются к автобусной остановке, вид пришибленный. Наверное, они ждут, что к ним вот-вот подлетит стая федоровской шпаны и затеет нехитрый разговор на тему, откуда они взялись, такие красивые. «Откуда? Из Города? Так вот, на тебе!» И ножом в живот. Сам Христиан, маленький заморыш, шпаны не боится, ни мифической, ни настоящей, потому что он свой, местный, и ходит за водой даже в потемках.

Вот и вся длинная сторона переулка, а на короткой, кроме Валленштейнов, живет только татарская семья, большая, шумная и невезучая. Муж, дядя Рафаэль, был прежде шахтером, но однажды его засыпало в забое, и к тому времени, когда пришла помощь, мужчина так отравился газом, что навсегда сделался инвалидом. Ему дали большую пенсию, которую он немедленно начал пропивать. Его жена, тетя Венера, боролась с пороком недолго и в результате начала пить сама. Четверо детей на глазах превращались в беспризорников, ночуя где попало, чтобы не попадаться

под руку пьяным родителям. Парни вскоре угодили в колонию за вооруженный разбой, младшую дочь после этого забрали дальние родственники, а старшая, Эльмира, была той самой беременной девчонкой, из-за которой ругались мать с отцом. Руди на все упреки отвечал стереотипно: «А что сразу я? С ней все пацаны путаются!»

Христиан останавливается у соседского забора и заглядывает во двор. Эльмира сидит на лавочке и чистит картошку, ее полинявший халатик разъехался над загорелыми коленями. На тонком запястье звякает латунный браслет с подвеской-сердечком, кустарное изделие заключенных из федоровской тюрьмы, расположенной сразу за школой, в которую ходит Христиан. Школу номер десять и тюрьму номер шестнадцать разделяет только полотно железной дороги. Когда из тюрьмы совершается побег, об этом утром объявляют по местному радио, и занятия для младших классов отменяются. Христиану везет подобным образом примерно раз в два-три месяца. Учиться он не любит.

Эльмира косится на мальчика за оградой маслянистым, сердитым черным глазом. Из распахнутой двери летней кухни появляется тетя Венера — огромная, толстая, в грязном тренировочном костюме, в галошах на босу ногу. Она сильно пьяна и смотрит на Христиана тяжелым неподвижным взглядом, будто не узнает. Его всегда поражает, как это имя самой прекрасной богини, которым названа звезда на небе, досталось такой

опустившейся женщине. Несправедливо распределяются имена! А ее муж носит такое же имя, как художник, нарисовавший Мадонну, и еще есть такой архангел, но много ли общего между ними и кривоногим, почти горбатым карликом с красным лицом? Не больше, чем между тетей Венерой и влажной вечерней звездой, которая ярче всех горит над оврагом, когда опускаются сумерки.

Христиан торопится пройти, боясь, что его начнут расспрашивать о Руди. Вот и колонка. Опустив ведра, он с силой нажимает рычаг и ждет, пока с шипением выйдет воздух. Вода появляется не сразу. Дед говорит, когда-то она шла, едва нажмешь рычаг, но Караганда стоит посреди бескрайней солончаковой степи, и подземный поток, когда-то хитро пойманный людьми в трубу, иссякает, уходит и однажды может исчезнуть совсем. Христиан считает про себя: «Раз... Два... Три...» В шипении сжатого воздуха ему слышатся бормочущие голоса подземных жителей — кобольдов или гномов, хором читающих заклинания, чтобы не пустить наверх воду. «И четыре... И пять!» произносит про себя Христиан, и струя желтоватой, смешанной с мелким песком воды ударяет в дно ведра.

Он несет полные ведра обратно. Тетя Мария спит в кресле посреди двора, уронив голову на грудь. На ее затылке, как заколка, сидит оранжевая в черную крапинку бабочка. По колену вверх, распуская и складывая крылья, ползет другая.